

Воспоминания ¹⁾.

1. Первые дни революции.

Я был так занят и увлечен военными делами, что не заметил, как подошла весна 1917 года. В политических кружках я почти не бывал, хотя всю зиму провел в Петрограде,—отчасти потому, что был переобременен военной работой, отчасти же потому, что мои взгляды и устремления совершенно расходились с настроениями политических кругов. Я искал разрешения вопроса в технической стороне дела. Но это не встречало ни малейшего сочувствия или отклика. Для русской общественности это составляло уже пройденный этап отношения к войне... Правда, настроения самих политических кружков были весьма пестры. Даже в среде наиболее близких мне представителей общественности я наталкивался на самое различное отношение к вопросам дня. Так, помню, Н. Н. Суханов дал мне при встрече Кинтальские резолюции ²⁾, которые я возвратил ему с ироническими замечаниями относительно интернациональных чудачков. М. Е. Березин, б. т. председателя II Гос. думы ³⁾, встретил мои пылкие технические выкладки сухим

¹⁾ Автор этих воспоминаний — бывший секретарь трудовой фракции III Гос. думы, бывш. комиссар северного фронта, а затем верховный комиссар в ставке (при Керенском). О его партийности можно судить по следующим его словам: „Мне казалось, что самое противоположение социализма и либерализма в значительной степени потеряло свой смысл“ („Воспоминания“, стр. 9).

Из мемуаров Станкевича мы заимствуем лишь две главы, относящиеся к Февральской революции. В интересах экономии места в них сделаны большие сокращения — выброшены почти все „философские“ и лирические отступления автора от нити рассказа. *Ред.*

²⁾ Речь идет о постановлениях так называемой второй циммервальдской конференции социалистов — противников войны, состоявшейся весной 1916 г. в швейцарской деревушке Кинтале (первая конференция происходила в сентябре 1915 г. в Циммервальде). Резолюции ее носили половинчатый характер с большим уклоном к социал-пацифизму, требовавшему простого прекращения войны, а не превращения ее в гражданскую войну. Для социал-оборонцев и такие взгляды были в лучшем случае лишь „чужаеством“. *Ред.*

³⁾ Член „трудовой группы“, политический единомышленник Станкевича. *Ред.*

замечанием, что не о новом способе продолжения войны надо думать, а о том, как войну кончать. Мякотин удивился, когда я высказал пессимистические соображения о возможности нам быстро добраться до Константинополя.— Но был один вопрос, в котором все сходились: отношение к правительству.

Необходимость смены правительства считалась аксиомой политической тактики. Ощущение фронта, глухое недовольство полуразбитой армии воплотилось в тылу в яркую оппозиционность.

Носившееся над всем фронтом настроение—«войну нельзя продолжать»—в интерпретации наиболее слышного в тылу политического настроения получало добавление: «пока существует теперешнее правительство»,—основной лозунг, звучавший ярко и ощутимо во всей деятельности прогрессивного блока. Речи в Государственной думе и политические слухи, тысячами ходившие по городу, несомненно, производили большое впечатление на армию. Офицерская среда с полной уверенностью присоединялась к оптимистическим ожиданиям нового правительства, которое сумеет лучше вести войну, сумеет возбудить народную энергию. И нам казалось, что и солдатская масса воспринимает также политические настроения. Разве солдаты не просили меня дать им речь Милюкова против Штюрмера или речь Львова на земском съезде в Москве ¹⁾?

В воздухе носились настолько отчетливые ожидания каких-то событий, что однажды, будучи дежурным в батальоне в один из тревожных дней, когда, по всеобщему уверению, что-то должно было произойти, я звонил Керенскому из казарм, чтобы он имел в виду, что я дежурю в войсковой части, ближайшей к Таврическому дворцу.

Какого-нибудь участия в заговорщических кружках того времени я не принимал. Лишь в конце января месяца мне пришлось в очень интимном кружке встретиться с Керенским. Речь шла о возможностях дворцового переворота. К возможностям народного выступления все относились определенно отрицательно, боясь, что раз вызванное народное массовое движение может попасть в крайне левые русла, и это создаст чрезвычайные трудности в ведении войны. Даже вопрос о переходе к конституционному режиму вызывал серьезные опасения и убеждение, что новой власти нельзя будет обойтись без суровых мер для поддержания порядка и недопущения пораженческой пропаганды. Но это не колебало общей решимости покончить с безобразиями

¹⁾ Эти речи с резкими нападкамии на правительство были запрещены цензурой. Однако они в большом количестве печатались и распространялись нелегально. *Ред.*

придворных кругов и низвергнуть Николая. В качестве кандидатов на престол назывались различные имена, но наибольшее единодушие вызывало имя Михаила Александровича, как единственного кандидата, обеспечивающего конституционность правления.

Я был настолько оторван от общественной жизни, что 26 февраля лишь вечером узнал, что в городе происходили какие-то демонстрации. М. Н. Петров прибежал ко мне в страшном волнении, рассказал о событиях, о стрельбе на улицах, стал говорить о необходимости военного выступления против правительства и побудил меня к тому, чтобы я отправился к Березину и просил его связать меня с президиумом Государственной думы и выяснить вопрос, что могло бы быть, если бы мне удалось собрать офицеров и убедить их подписать резолюцию о подчинении батальона Государственной думе. Я хорошо знал весь офицерский состав нашего батальона и унтер-офицерский. И мне казалось, что после тех предварительных разговоров и нащупываний, которые я имел и которые дали хороший результат, можно было в несколько дней подготовить подобную демонстрацию. Березин обещал принести мне ответ на следующий день около 6 часов.

Но я не получил его ответа. На другой день рано утром я собирался, по обыкновению, в батальон. Вдруг раздался звонок по телефону, и от имени Керенского мне сообщили, что дума распущена. Протопопов объявлен диктатором, что в Волынском полку произошло выступление, полк перебил офицеров, вышел с винтовками на улицу и направился к Преображенским казармам (в этих казармах был расположен мой батальон). Не тратя ни минуты времени, я схватил свое боевое снаряжение и помчался в батальон. На углу Литейного и Кировой я увидел толпу людей, сосредоточенно глядевших вдоль Кировой улицы. Я подошел: в конце Кировой, как раз против Преображенских казарм, клубилась серая, беспорядочная толпа солдат, медленно подвигавшаяся к Литейному проспекту. Над их головами видны были два или три темных знамени из тряпок.

Я направился к толпе, но меня остановил какой-то унтер-офицер, поспешно бежавший от толпы:

«Ваше благородие, не ходите, убьют! Командир батальона убит, поручик Устругов убит, и еще несколько офицеров лежит у ворот. Остальные разбежались».

Я смутился и завернул в школу прапорщиков в начале Кировой; пытался связаться по телефону с батальоном и Государственной думой, но не получил ниоткуда ответа. Тем временем толпа надвинулась на училище, ворвалась в помещение. Но был дан только один случайный выстрел

в коридоре. Солдаты разобрали винтовки и пошли дальше. Я вышел из училища и пробовал убеждать солдат идти к Таврическому дворцу. Но мои слова были встречены недоверием: «Не заманивает ли в западню»...

На улице меня солдаты задержали, отняли оружие. Пьяный солдат, припоминая обиды, нанесенные ему каким-то офицером, настаивал на том, чтобы меня прикончить. Но в общем толпа была мирно настроена. Один солдат из моего батальона заверил, что он меня знает: «Это наш, хороший», и меня отпустили с миром.

Когда я пришел в батальон, в нем уже не было ни души,—все разбрелось по городу. Несколько солдат в учебной команде мирно пили чай. Я стал с ними разговаривать. Неопределенные ответы, неопределенные вопросы. Были ясно, что солдаты не верят мне и знают, что я также не верю им.

Уже вечером я отправился в Таврический дворец. На дворе нестройные кучки солдат. У дверей напирала толпа штатских, учащейся молодежи, общественных деятелей, стараясь войти в здание. Я быстро получил пропуск и стал искать Керенского. Его я нашел в просторной зале, где кроме него был только Чхеидзе, с поднятым воротником, оба в волнении. Чхеидзе все время бегал из угла в угол. Керенского вызвали в соседнюю комнату, откуда он вышел с сообщением, что заняты почта и телеграф, но что необходимо туда послать подкрепление. Я заявил, что никакого подкрепления нельзя послать, пока солдаты не приведены в порядок. Чхеидзе торопливо подошел ко мне и сказал, что верно, что прежде всего нужен порядок, нужно строить полки или что-то вроде этого. Я спросил кого-то из окружающих, где остальные члены думы. Мне ответили, что разбежались, так как почувствовали, что дело плохо. Впоследствии я убедился, что это была ошибка, так как, напр., Родзянко был в то время в штабе и говорил по поводу с фронтами. И дело было не «плохо», но только оно не сосредоточивалось в Таврическом дворце, который только сам считал себя руководителем восстания¹⁾. На самом же деле восстание совершилось стихийно, на улицах. Окружный суд уже догорал. На Литейном и Невском были баррикады, и, по существу, уже весь город был вне власти прежнего правительства. Но полный размах восстания стал ясен на следующий день с утра. На улицах немолчно, повсюду, повидимому, беспричинно и бесцельно, происходила стрельба из пулеметов, винтовок и револьверов. Ка-

¹⁾ Вот одно из многих свидетельских показаний, опровергающих распространяемую Милкоковым и подобными ему буржуазными «историками» басню о руководящей роли Думы в восстании. *Ред.*

залось, винтовки стреляли сами собой. Казалось, громадные запасы взрывчатого вещества, накапливаемые против противника, приобрели свойство взрываться сами собой в тылу, рая и убивая кого попало. И запасы противо-человеческой ненависти вдруг раскрылись и мутным потоком вылились на улицах Петрограда в формах избиения городских, ловли подозрительных лиц, в возбужденных фигурах солдат, катающихся бешено на автомобилях.

К думе трудно было уже протолкаться,—солдаты, матросы, рабочие массами шли туда. Несмотря на строгий контроль и пропуск только с разрешением, выдаваемым в комендантской комнате, толпа спорадически отталкивала часовых и вливалась во дворец. Все коридоры, комнаты полны спешащими, требующими, недовольными, усталыми от ожидания, от неизвестности и неопределенности.

Все свое время я делил между батальоном и думой, стараясь, и не безуспешно, навести какой-нибудь порядок в своей части. Были трения из-за командира батальона—прежний был убит в первый момент восстания, когда он, во главе учебной команды, вышел навстречу восставшим. Новый—старший в чине, выбранный офицерами и представителями от рот, не понравился. Откуда-то взялись какие-то агитаторы из солдатской же среды и стали сеять смуту, призывая не верить офицерам. Пришлось согласиться на другого кандидата—почти бессловесного прапорщика: по моему предложению, весь батальон—и солдаты и офицеры—вышли в полном строевом порядке на двор. Там я от имени Государственной думы представил батальону нового командира, произнес примирительную речь и предложил с музыкой в строю пройти к Таврическому дворцу. Картина нашего шествия была настолько внушительна, что произвела впечатление даже в те дни, когда дворец осаждался со всех сторон солдатами. Чхеидзе, бесконечно выступавший с приветствиями частям, был настолько поражен нашей, действительно внушительной и растянувшейся чуть ли не на версты манифестацией—все в безукоризненном строю, с офицерами на местах, с оркестром музыки,—что пал на колени и, схватив красное знамя первой роты, стал в восторге целовать его, как символ уже победившей революции.

Но я не обольщался и чувствовал, что под этим наскоро сколоченным порядком нет еще армии, что разложение идет глубже, что мы живем не уже новым порядком, а только инерцией старого. Но надолго ли хватит этой инерции? Для характеристики моих настроений, несомненно, еще сравнительно бодрых—офицеры в батальоне говорили мне, что они чувствуют себя спокойными только при мне, и, вероятно под их влиянием представители рот избрали

меня помощником командира батальона—могу привести маленький разговор с Керенским. В один из первых дней, когда еще велись переговоры относительно составления правительства, Керенский, увидя меня около кабинета Родзянки, подошел ко мне и заявил:

«Знаете ли, мне предлагают портфель министра юстиции... Брать или не брать?» Вопрос был в той плоскости, что демократические партии вообще отказались от участия в правительстве, и Керенскому приходилось идти против настроений своих друзей.

— Все равно,—ответил я,—возьмете или нет,—все пропало.

— Как все пропало? Ведь все идет превосходно.

— Армия разлагается... Но, быть может, вы еще спасете. Конечно, брать...

И я поцеловал его.

Я стал слишком военным, чтобы воспринимать что-либо помимо соображений, как это отразится на судьбе военных операций. И для своего отношения к событиям в первый же день я нашел формулу: «Через десять лет будет хорошо, а теперь—через неделю немцы будут в Петрограде».

И я склонен утверждать, что такие настроения были, в сущности, главенствующими. И притом не только в сравнительно правых группах.

Официально торжествовали, славословили революцию, кричали «ура» борцам за свободу, украшали себя красными бантами и ходили под красными знаменами... Дамы устраивали для солдат питательные пункты. Все говорили «мы», «наша» революция, «наша» победа и «наша» свобода. Но в душе, в разговорах наедине—ужасались, содрагались и чувствовали себя плененными враждебной стихией, идущей каким-то неведомым путем. Буржуазные круги думы, в сущности, создавшие атмосферу, вызвавшую взрыв, были совершенно неподготовлены к «такому» взрыву ¹⁾. Никогда не забудется фигура Родзянки, этого грузного барина и знатной персоны, когда, сохраняя величавое достоинство, но с застывшим на бледном лице выражением глубокого страдания и отчаяния, он проходил через толпы распоясанных солдат по коридорам Таврического дворца. Официально значилось: «солдаты пришли поддержать думу в ее борьбе с правительством», а фактически—дума оказалась упраздненной с первых же дней ²⁾. И то же выражение было на лицах всех членов Временного комитета думы и тех кру-

¹⁾ Это утверждение верно только во второй его части. Что же касается причин „взрыва“, то созданная думой „атмосфера“ была в лучшем случае причиной лишь второстепенного характера. *Ред.*

²⁾ Весьма правильное утверждение. *Ред.*

гов, которые стояли около них. Говорят, представители прогрессивного блока плакали по домам в истерике от бес- сильного отчаяния... Даже заглядывая в столовые, где бес- платно с полным радушием круглые сутки кормили солдат, я видел, что гостеприимные хозяйки словно откупались от солдатчины, прикармливали их, но чувствовали безнадеж- ность этого, так как солдаты сосредоточенно сидели и жевали, не выпуская из рук винтовок, не разговаривая даже между собой, не делясь впечатлениями, но каким-то стад- ным чувством сознавая что-то общее, думали по-своему, по иному, непонятному и не поддающемуся истолкованию.

Все это особенно резко сказывалось на положении офи- церства. События, навалившиеся на него, были так резко и грубо ломающими все установленные порядки механизиро- ванной армии... И дело не в приказе № 1—2, не в тех или иных мерах; не в тех или других выражениях воззва- ний. Дело было в том, что солдаты, нарушив дисциплину и выйдя из казарм не только без офицеров, но и помимо офицеров, даже убивая их, исполняющих свой долг, оказа- лось, по официальной, повсеместной, всенародной и обя- зательной для самих офицеров терминологии, совершили великий подвиг освобождения. Если это—подвиг и если офи- церство теперь само утверждает это, то почему же оно не вывело солдат на улицу,—ведь ему это было легче и без- опаснее сделать. Теперь, после факта победы, оно присоеди- нилось к подвигу. Но искренно и надолго ли?—Ведь в первые минуты оно растерялось, попрыталось, переде- валось... Пусть на другой день пришли все офицеры... Пусть некоторые из офицеров прибежали и присоединились че- рез пять минут после выхода солдат. Все равно, тут сол- даты вывели офицеров, а не офицеры солдат, и эти пять минут составили непреходимую пропасть, отделяющую от всех глубочайших и основных предпосылок старой армии.

Но армия вышла не только из рук командного состава— даже избранного, даже признанного революцией. Она не была в руках и того среднего и руководящего обществен- ного мнения, которое, волей или неволей, санкционировало переворот, как осуществление его требований. Обычно историю первых дней революции представляют в виде раз- лада между советом рабочих и солдатских депутатов и Временным комитетом думы. Действительно, противопо- ложность между обеими организациями сказывалась с каж- дым днем принципиальнее и глубже по существу и ощути- тельнее во вне. В сущности, только формальная связь личности Керенского соединяла оба института, оспаривав- шие друг у друга руководство революционным движением. Но Временный комитет думы имел слишком законченную

и определенную идеологию, стремился к слишком отчетливой власти, чтобы вместить в себя бурный наплыв революционной стихии, чтобы долго находиться на его гребне. Напрасно он оказывал революции громадные услуги, покориw ей сразу весь фронт и все офицерство. Он сам немедленно затапливался стихией, забывался. Ведь даже в Таврическом дворце он был, сравнительно, мало заметным.

Образование Временного правительства мало изменило положение дела. 3 марта, узнав в Таврическом дворце об образовании правительства, я немедленно отправился в свой батальон сообщить об этом солдатам и офицерам. Я обходил роту за ротой, произносил коротенькие речи о необходимости правительства и о личном составе Временного правительства. Мне припоминается, что слова о необходимости правительства воспринимались довольно сухо. Не особенно дружно приветствовали и отдельных министров. Ни крупнейший авторитет председателя совета министров Г. Львова, ни прежние заслуги перед армией нового военного министра Гучкова, ни сокрушающие удары, которые нанес старой власти Милоков, теперь министр иностранных дел, ни заслуги по организации военно-промышленного комитета Коновалова, ставшего министром торговли и промышленности, ни Некрасов, министр путей сообщения, ни Терещенко, министр финансов, ни Шингарев, министр земледелия,—не вызывали энтузиазма, хотя я говорил о них с воодушевлением, так как хорошо знал, что значит в России переход власти в их руки ¹⁾. Но в аудитории чувствовался холодок. Лишь когда я называл Керенского, тогда слушатели вдруг вспыхивали истинным удовлетворением: в нем они чувствовали «своего» министра. Но Керенский был один. Остальным министрам толпа уже не доверяла. Но и к Керенскому было личное доверие несмотря на то, что он стал министром, за то, что он—общепризнанный герой революции.

Поэтому, несмотря на образование Временного правительства, совет рабочих и солдатских депутатов или, вернее, его Исполнительный Комитет вскоре стал, бесспорно, единственным вождем революции. Это было понятно для рабочей среды. Но почему Исполнительный Комитет завоевал армию? Ведь все офицерство было не на его стороне? Но это и было как раз причиной популярности Комитета. Солдатская масса, особенно после приказа № 1, восприняла Комитет, как анти-офицерскую организацию

¹⁾ Как видим, уже в первые дни революции солдатская „толпа“ тоже недурно понимала, „что значит“ переход власти в руки буржуазного Временного правительства. *Ред.*

и именно поэтому встала около него. Солдатской же массе уже принадлежало руководящее положение в армии.

Естественно, что весь ужас перед разгулявшейся стихией проектировался на Комитете, и комната № 13 Таврического дворца стала фокусом озлобленного и тревожного недоверия. Особенно ярки эти настроения были около товарища председателя С. Р. и С. Д.—Керенского. Он был единственный человек, который с энтузиазмом и с полным доверием отдался стихии народного движения, чувствуя гораздо более и шире, чем другие, и сознав с первого дня все историческое величие совершающегося переворота¹⁾. Единственно он со всей верой в правду говорил с солдатами «мы»... И верил, что масса хочет именно того, что исторически необходимо для момента. Но, понимая, что с каждым днем масса уходит куда-то в сторону, что около Временного правительства образуется пустота, что пена гребня несется куда-то в сторону, увлекаемая совершенно непредвидимыми водоворотами,—он часто очень резко отзывался о руководителях Исполнительного Комитета.

Я сперва воспринимал события так же, как Керенский, и для себя лично считал наиболее соответствующим вести борьбу с анархией в самом гнезде ее. Поэтому я предложил офицерам нашего батальона послать своего представителя в совет. Офицеры согласились и единогласно выбрали меня. Преодолевая довольно жестокое сопротивление мандатной комиссии, доказывающей, что представители от офицеров не допускаются в совет, я все же настоял на своем праве и проник в это грозное собрание. Но совет оказался просто толпой солдат, довольно дружелюбно настроенных. Я попробовал выступить—меня встретили солдаты моего батальона аплодисментами. Попробовал говорить о необходимости революционной дисциплины. То же одобрение. Почему в совете настроения более мягкие и приятные, чем в батальоне²⁾?

И все яснее чувствовалось нечто иное, более глубокое и беспокойное, чем вопрос о распределении влияний левых и правых кругов общественности. Чувствовалось, что масса

¹⁾ Эта восторженная характеристика Керенского далеко не верна. Особого энтузиазма и доверия революционная стихия ему не внушала. Во всяком случае он не был способен понять ее, а тем более руководить ею. *Ред.*

²⁾ По той простой причине, что в первые дни в совет попадали преимущественно наиболее «интеллигентные» солдаты: вольноопределяющиеся, писаря и т. д. Только значительно позднее солдатская масса научилась различать политические партии и выбирать депутатов по партийному признаку. Но и после этого она долго еще шла по ложному пути, отдавая свои голоса эсерам, пока, наконец, не поняла их контр-революционную природу. *Ред.*

ушла не только от среднего общественного мнения, от кругов, которые в свою пользу оспаривали власть у старого правительства, но что она вообще никем не руководится, что она живет своими законами и ощущениями, которые не укладываются ни в одну идеологию, ни в одну организацию, которые вообще против всякой идеологии и организации, так как это по природе своей—анархическая стихия. Ведь не только офицеры прибежали через пять минут после того, как солдаты вышли на улицу, но лишь через пять минут прибежали и деятели прогрессивного блока, и меньшевики и большевики¹⁾. Я часто чувствовал раскаяние, почему я не презрел предостережения унтер-офицера и не бросился со всех ног к толпе, окружавшей мой батальон, и не повел ее к думе. Керенский часто говаривал своим друзьям, что он сделал ошибку, что не отправился в казармы Волынского полка, как только узнал о беспорядках там. Но ведь это безразлично, все равно, это было бы с опозданием на пять минут и не изменило бы того факта, что масса двинулась сама, повинувшись какому-то безотчетному внутреннему позыву. Кто вызвал солдат на улицу? Ни одна партия, при всем желании присвоить себе эту честь, не могла дать на это ответа²⁾. Кто мог предвидеть выступление?—Как раз накануне его было собрание представителей левых партий и большинству казалось, что движение идет на убыль, и что правительство победило³⁾. С каким лозунгом вышли солдаты? Они шли, повинувшись какому-то тайному голосу, и с видимым равнодушием и холодностью позволили потом навешивать на себя всевозможные лозунги. Кто вел их, когда они завоевывали Петроград, когда жгли окружный суд? Не политическая мысль, не революционный лозунг, не заговор и не бунт, а стихийное движение, сразу испепелившее всю старую власть без остатка: и в городах, и в провинции, и полицейскую, и военную, и власть самоуправлений. Не-

1) Насчет большевиков автор глубоко заблуждался. В противоположность всем остальным „через пять минут революционерам“ они в течение всей войны (так же как и до нее) вели систематическую работу по подготовке революции. С первых же дней движения большевики приняли в нем энергичное участие, руководя им и стараясь превратить забастовку и демонстрацию в вооруженную борьбу с паризмом. См., например, подробный рассказ об этом у Шляникова в его книгах: „Канун 17-го года“ и „Семнадцатый год“. *Ред.*

2) Разумеется, солдаты вышли на улицу не по официальному приглашению той или иной партии, — революции так просто не делаются. Но большевики имеют все права присвоить себе и здесь значительную долю чести, так как солдаты вышли на улицу лишь после усиленной агитации руководимых большевиками демонстрантов и специальных большевистских агитаторов. *Ред.*

3) Большевики, как известно, не разделяли взглядов этого большинства“. *Ред.*

известное, таинственное и иррациональное, корящееся в скованном виде в народных глубинах, вдруг засверкало штыками, загремело выстрелами, загудело, заволновалось серыми толпами на улицах. К этому неизвестному подошли и попробовали его взять в руки. И, не умея формулировать возражения, не зная, как оказать сопротивление, масса стала повторять чужие лозунги и чужие слова, дала расписать себя по партиям и по организации. И, естественно, наименее требующее организованности оказалось наиболее по душе. Совет, это собрание полуграмотных солдат, оказался руководителем потому, что он ничего не требовал, потому что он был только фирмой, услужливо прикрывавшей полное безначалие ¹⁾.

Но удержит ли совет движение, когда он начнет требовать? Прочен ли слой хотя бы советский идеологии на бушующем море народной раскаленной лавы?

Мне кажется, что яснее всего эту тревогу ощущал Н. Н. Суханов, который, пытаясь и будучи действительно наиболее способным занять место идеолога революции в ее первом развитии, чувствовал, что движение не укладывается ни в какие схемы. Он был уверен, что Временное правительство не удержится у власти. Но что будет дальше? Должно быть, движение налево. Но умеренная демократия, во главе с Керенским, не хочет понять всей глубины народного бунтарства, не уясняет того, что если бы не Исполнительный Комитет, на который столько нападают, весь фронт сгорел бы в первые же дни революции, так как только Комитет придает кое-какую государственность и организованность массовому движению. Что было бы без него? Хаос!..

2. Исполнительный Комитет.

В начале марта я вошел в состав Исполнительного Комитета к полусерьезному, полущутливому негодованию Суханова, которой находил, что здесь не место «геометрам и фортификаторам». В Комитете я представлял наиболее правую из допускавшихся там групп—группу трудовиков. Весь март и апрель я был одним из усидчивых и постоянных посетителей заседаний, распроставшись, хотя не без колебаний, со своей фортификацией. Фактически я ограничивался ролью только наблюдателя, так как после трех

¹⁾ Довольно своеобразная „философия“. Революционная самодеятельность масс кажется Станкевичу каким-то непостижимым чудом. Даже для такой простой вещи, как сплочение рабочих и солдат вокруг своих, им же созданных революционных организаций, он ищет каких-то поистине „иррациональных“ толкований. *Ред.*

лет перерыва политическая работа была для меня слишком чужда и необычна.

В это время Исполнительный Комитет имел чрезвычайный вес и значение. Формально он представлял собой только Петроград, но фактически это было революционное представительство для всей России, высший авторитетный орган, к которому прислушивались отовсюду с напряженным вниманием, как к руководителю и вождю восставшего народа. Но это было полнейшим заблуждением. Никакого руководства не было, да и быть не могло.

Прежде всего, Комитет был учреждением, созданным наспех и уже в формах своей деятельности имевшим множество чрезвычайных недостатков.

Заседания происходили каждый день с часу дня, а иногда и раньше, и продолжались до поздней ночи, за исключением тех случаев, когда происходили заседания совета, и Комитет, обычно в полном составе, отправлялся туда. Порядок дня устанавливался обычно «миром», но очень редко были случаи, чтобы удалось разрешить не только все, но хотя бы один из поставленных вопросов, так как постоянно во время заседаний возникали экстренные вопросы, которые приходилось разрешать не в очередь. Между прочим, вопрос об организации работ Комитета ставился на очередь систематически ежедневно, но он получил свое разрешение лишь к концу апреля, т.-е. ко времени, когда само влияние Комитета стало заметно падать. Вопросы приходилось разрешать под напором чрезвычайной массы делегатов и ходяков как из петроградского гарнизона, так и с фронтов и из глубины России, причем все делегаты добивались во что бы то ни стало быть выслушанными в пленарном заседании Комитета, не довольствуясь ни отдельными членами его, ни комиссиями. В дни заседаний совета или солдатской секции дела приходили в катастрофическое расстройство.

Пробовали было провести разделение труда устройством разных комиссий. Но это мало помогло делу, так как центр тяжести по-прежнему лежал на пленуме, хотя бы потому, что комиссиям некогда было заседать, ввиду перманентности заседаний Комитета. Важнейшие решения принимались часто совершенно случайным большинством голосов. Обдумывать было некогда, ибо все делалось второпях, после ряда бессонных ночей, в суматохе. Усталость физическая была всеобщей. Недоспанные ночи. Бесконечные заседания. Отсутствие правильной еды — питались хлебом и чаем и лишь иногда получали солдатский обед в мисках без вилок и ножей.

Технические недочеты, неспособность или невозможность организовать правильную работу увеличивались политиче-

ской деорганизованностью, а вначале—и соотношением личных сил. Главенствующее положение в Комитете все время занимали социал-демократы различных толков. Н. С. Чхеидзе—незаменимый, энергичный, находчивый и остроумный председатель, но именно только председатель, а не руководитель совета и Комитета: он лишь оформлял случайный материал, но не давал содержания. Впрочем, он был нездоров и потрясен горем—смертью сына. Я часто улавливал, как он сидел на заседании, устремив с застывшим напряжением глаза вперед, ничего не видя и не слыша. Его товарищ—М. И. Скобелев, всегда оживленный, бодрый, словно притворявшийся серьезным. Но Скобелева редко можно было видеть в Комитете, так как ему приходилось очень часто разъезжать для тушения слишком разгоревшейся революции в Кронштадте, Свеаборге, Выборге и Ревеле... Н. Н. Суханов, старавшийся руководить идейной стороной работ Комитета, но не умевший проводить свои стремления через суетливую и неряшливую технику собраний и заседаний. Б. О. Богданов¹⁾, полная противоположность Суханову, сравнительно легкомысленно относившийся к большим принципиальным вопросам, но зато бодро барахтавшийся в гуде деловой работы и организационных вопросов и терпеливее всех высиживавший на всех заседаниях солдатской секции Совета. Ю. М. Стеклов, изумлявший работоспособностью, умением пересиживать всех на заседаниях и, кроме того, редактировать советские «Известия» и упорно гнувший крайне левую, непримиримую линию²⁾. К. А. Гвоздев³⁾, выделявшийся рассудительной практичностью и государственной хозяйственностью своих выводов и негодовавший, что жизнь идет так нерассчетливо сумбурно; встревоженно, с недоумением и, наконец, с негодованием смотревший, как его товарищи рабочие стали так недальновидно проматывать богатство страны. М. И. Гольдман (Либер)⁴⁾—яркий, неотразимый аргументатор, направлявший острие своей речи неизменно налево. Н. Д. Соколов, как-то странно не попадавший в такт и тон событий и старавшийся не показать виду, что он сам понимает и видит это не хуже, а может быть, лучше других. Г. М. Эрлих, которого я более всего помню окруженным толпой делега-

1) Руководитель группы меньшевиков-оборонцев. *Ред.*

2) Это, разумеется, неверно. Крайне левую и непримиримую линию вели в Исполкоме большевики, линия же Стеклова проходила тогда посередине между большевистской и меньшевистской. *Ред.*

3) Яркий меньшевик-оборонец, председатель рабочей группы созданного Гучковым и Коноваловым военно-промышленного комитета. *Ред.*

4) Бывший бундовец, один из наиболее правых меньшевиков-оборонцев. *Ред.*

тов перед дверьми Комитета. Потом к ним присоединились: Дан, воплощенная догма меньшевизма, всегда принципиальный и поэтому никогда не сомневавшийся, не колебавшийся, не восторгавшийся и не ужасавшийся—ведь все идет по закону—всегда с запасом бесконечного количества гладких законченных фраз, которые одинаково легко и ровно укладывались и в устной речи, и в резолюциях, и в статьях, и в которых есть все, что угодно, кроме действия и воли¹⁾. Все делает история—для человека нет места. И. Г. Церетели, полный страстного горения, но всегда ровный, изящно-сдержанный и спокойный, идеолог, руководитель и организатор Комитета, отдавший напряженной работе остатки надорванного здоровья.

Но все это были марксисты. Народники не дали для Комитета ничего похожего, даже когда появились их перво-классные силы—А. Р. Гоц, В. М. Чернов, И. И. Бунаков, В. М. Зензинов. Они все время предпочитали держаться в стороне, скорее присматриваясь к Комитету, чем руководя им. Народные социалисты—В. А. Мякотин и А. В. Пешехонов—старательно подчеркивали свою чужеродность в Комитете. Из трудовиков только Л. М. Брамсон, организатор и руководитель финансовой комиссии, а впоследствии комиссии по Учредительному собранию, оставил очень значительный след в деловой работе Комитета. Усиленно выдвигали меня, как офицера с некоторым техническим знанием и вместе с тем давно участвовавшего в общественной работе. И, несомненно, передо мной были большие возможности в смысле влияния на работы Комитета. Но я был оглушен событиями и, ярко воспринимая их, не нашел способности реагировать на них. В одинаковом со мною положении, был, кажется, и С. Ф. Знаменский, тоже офицер и представитель трудовиков.

Большевики в Комитете были вначале представлены, главным образом, М. Н. Козловским и П. И. Стучкой, один—короткий, полный, другой—длинный, сухой, но оба одинаково желчные и злые...

Противоположностью им явился потом Каменев, отношения которого ко всем были так мягки, что, казалось, он сам стыдился непримиримости своей позиции; в Комитете он был, несомненно, не врагом, а только оппозицией. Больше всех производил впечатление большевик-рабочий П. А. Залуцкий. Чрезвычайно мягкий, даже милый, но всегда печальный и озабоченный, как если бы кто-либо из близких был долго и безнадежно болен, и это заглушало все остальные восприятия от мира и толкало на самые отчаянные реше-

¹⁾ Это типично для всего меньшевизма. *Ред.*

ния, лишь бы скорее избавиться от этого гнета и, наконец, зажить по-хорошему.

Военные вначале были представлены В. Н. Филипповским и несколькими солдатами.

Филипповский просидел первые трое суток революции в Таврическом дворце, ни на минуту не смыкая глаз, и с тех пор стал неизменной принадлежностью Комитета и эсеровской фракции. Солдаты были выбраны на одном из первых солдатских собраний, при чем естественно попали наиболее истерические, крикливые и неуравновешенные натуры, которые в результате ничего не давали Комитету, не пользовались никаким влиянием в гарнизоне и даже в своих собственных частях. Потом, после дополнительных выборов, в Комитет вошел ряд новых представителей, с Завадьё и Бинасиком во главе. Последние добросовестно, насколько были в силах, старались справиться с военными делами. Но оба, бывшие, кажется, мирными писарями в запасных батальонах, никогда не интересовавшимися ни войной, ни армией, ни политическим переворотом, были только наиболее ярким доказательством, насколько условно можно воспринимать утверждения, что Исполнительный Комитет руководил революцией.

В общем, историю Комитета в организационном и личном отношении следует разделить на два периода: до и после приезда Церетели. Первый период был периодом, полным случайности, колебаний и неопределенности, когда всякий, кто хотел, пользовался именем и организацией Комитета, и более всего это удавалось Стеклову, наиболее талантливому, усидчивому и солидному члену Комитета. Это—период сумбура, когда были возможны случаи, что заседания Комитета—правда, по маловажным вопросам—происходили в составе одних интернационалистов и большевиков, под председательством Стеклова. И левые и правые чувствовали Комитет одинаково своим или одинаково чужим учреждением, по возможности пользуясь им, но не сознавая обязанности нести ответственность за него.

В результате получались «забавные» случаи. Напр., однажды каким-то способом, чуть ли не благодаря вниманию барышни-регистраторши, было задержано письмо на бланке Комитета с печатью к крестьянам какого-то села, которым давалось полномочие «социализировать» соседнее помещичье имение. Несмотря на весь радикализм в социальных вопросах, весь комитет был до глубины души возмущен этим случаем. Произвели специальное расследование, и оказалось что такие письма выдавал член аграрной комиссии, эсер Александровский, считавший себя вправе проводить свои тенденции и взгляды от имени Комитета.

Но зачем брать такие мелкие примеры? Сами советские «Известия», в сущности, были не чем иным, как таким письмом Александровского. В общем тоне статей, в подборе хронике, в том, что помещалось и что не помещалось, в опечатках, наконец,—езде чувствовалась рука редактора и его помощников, проводивших свой взгляд, но отнюдь не взгляды Комитета. И громадным большинством Комитета «Известия» воспринимались, как нечто чужое, как безобразие. Но некому было об этом подумать, и некому было приискать какой-нибудь выход из положения. Но когда я составил формальное заявление с протестом против всего направления «Известий», то под ним подписались сразу все лидеры Комитета до Суханова включительно¹⁾, и Стеклов был без сожаления смещен.

Такое положение дел приводило к тому, что, хотя официально Комитет поддерживал правительство, и большинство постоянно настаивало на незыблемости этой позиции,—тем не менее Комитет сам расшатывал авторитет правительства своими случайными мерами, необдуманными шагами. Для предотвращения недоразумений была образована особая делегация Комитета, которая раза два в неделю ходила в Мариинский дворец беседовать с правительством... Но что могла сделать эта делегация, если в то время, как она беседовала и приходила к полному единодушию с министрами, десятки Александровских рассылали письма, печатали статьи в «Известиях», разъезжали от имени Комитета делегатами по провинции и в армии, принимали ходоков в Таврическом дворце, каждый, выступая по-своему, не считаясь ни с какими разговорами, инструкциями или постановлениями и решениями. В конечном счете, от Комитета всегда всего можно было добиться, если только упорно настаивать. И в этом смысле Комитет руководился и определялся не теми, кто в нем сидел и решал вопросы, а теми, кто к нему обращался.

Резко изменился характер Комитета с появлением Церетели. Вошел он туда в качестве члена 2-ой Думы только с совещательным голосом. В первый день он скромно отказался высказать свое мнение, так как еще не присмотрелся к обстановке. На следующий день он произнес пространную речь, словно нащупывая позицию, при чем не угодил ни левым, так как явно тянул в сторону компромисса и соглашения с правительством, ни правым; так как речь его во многих отношениях дышала еще нетронутым «сибирским» интернационализмом. На третий день Цере-

¹⁾ Повидимому, везде и всюду, где идет речь о «всем Комитете» и о «всех лидерах» его, большевики автором в расчет не принимаются. *Ред.*

тели явился уверенным в себе вождем Комитета и Совета и, в принципе сохраняя интернационалистические тенденции, на практике резко проводил оборонческую линию поведения и линию органического сотрудничества и поддержки правительства¹⁾. С большой грудью, часто теряя от напряжения голос, с болезненно-воспаленным лицом и глазами—он спокойно, уверенно и смело вел Комитет, который сразу из сборища случайных людей превратился в учреждение, в орган. Но поразительно, как раз в момент, когда Комитет организовался, когда в нем выделились и начали функционировать отделы, когда ответственность за работы взяло на себя бюро, избранное только из оборонческих партий,—словом, когда Комитет научился управлять собой,—как раз в это время он выпустил из рук руководство массой, которая ушла в сторону от него²⁾.

3. Приятие войны.

Манифест³⁾ издан, слово сказано, и «через горы братских трупов, через реки невинной крови и слез, через дымящиеся развалины городов и деревень, через погибшие сокровища культуры» протянута рука к народам всего мира.

И скоро получен был ответ.

Прежде всего откликнулась союзная демократия. В Комитете появились встревоженные лица французских социалистов—Кашена⁴⁾, потом Тома, английского трудовика Гендерсона, итальянских социалистов. И сразу почувствовалось, что для них наш манифест казался отнюдь не новым словом, а уже давно пройденным этапом, наивностью, о которой трудно серьезно говорить. Они деликатно и вежливо, лавируя между нашей принципиальностью и политической неопытностью, напоминали русской демократии, что на фронте идет война, что увлечение красивыми лозунгами может привести к гибели всех завоеваний русской революции, что свобода в опасности, что не о мире еще надо ду-

1) „В принципе“—интернационализм, на практике — оборончество на словах — революция, на деле — ее тушение. Но ведь это же — большевистская характеристика меньшевизма. Простодушный Станкевич даже не подозревает, какую медвежью услугу оказывает он Церетели своей „похвалой“. *Ред.*

2) Эти два события находятся между собою в тесной причинной связи. Последовательная соглашательско-оборонческая политика эсеро-меньшевистского Совета не могла не оттолкнуть от него революционно и пацифистски настроенные массы. Здесь нет ровно ничего „поразительного“. *Ред.*

3) Речь идет об известном воззвании Петроградского Совета к народам всего мира от 14 марта 1917 года. *Ред.*

4) Впоследствии порвал с оппортунизмом и вошел в ряды французской компартии. *Ред.*

мать, а о войне. Они привезли с собой настроения уже давно воюющей демократии, они имели уже готовые возражения на все сомнения, ответы на все вопросы. Они заставили и русскую демократию стараться говорить на одном с ними языке. И горячие призывы Тома, чтобы русская армия добилась своего Вальми¹⁾, и рассудительная энергия Гендерсона, внушительной жестикуляцией подкреплявшего доводы о необходимости разгромить Германию—производили свое впечатление. Русская революция, столь нестойкая и примитивная идеологически, уступала перед международным натиском накопившейся вражды, и слова о мире сами собой превращались в слова войны.

Суханов невольно ступешался на четвертый план. Стеклов, единственно владевший свободно, хотя и варварски, французским языком, и тот не упоминал в своих репликах о манифесте к народам всего мира. Церетели как-то раз упомянул, что русская интеллигенция настроена циммервальдистски, но встретил такие удивленные взгляды со стороны собеседников-иностранцев, что слова завязли на устах. Трезвостью, реализмом, приводящей в отчаяние практичностью веяло от этих испытанных парламентариев-министров. Да и как не притти в отчаяние, когда Гендерсон привез русской демократии приглашение на сентябрь месяц на съезд тред-юнионов, где, между прочим, предполагалось рассмотреть и вопрос о войне... А в Комитете далеко не одним большевикам казалось, что в сентябре о войне и помину уже не должно быть! Ясно было, что механизм мирового общественного мнения решительно отказывался следовать за молниеносностью русских событий.

Но еще поучительней был отклик, полученный из Германии. Уже в первые дни революции радиотелеграф поймал фразу:

— «Привет товарищам, ура!».

Было решено, что это, несомненно,—отклик германской демократии. Но подтверждений не получилось. Подлинное же мнение большинства германской социал-демократии привез представитель датских социалистов Боргбьерг. Он появился как-то таинственно, произнес небольшую речь с явными недомолвками, потом на неделю куда-то ступешался. Потом явился опять и заявил, что может приблизительно изложить мнение германских социалистов. Но это мнение отнюдь не произвело впечатления ответного рукопожатия, а, скорее, попытки спекулировать на русской революции. Германские социалисты отказывались обсуждать вопросы

¹⁾ Так называется селение, под которым во время Великой французской революции революционная армия одержала решительную победу над реакционной армией пруссаков. *Ред.*

о Польше и о Лотарингии. Лишь для Эльзаса соглашались на плебисцит по отдельным общинам...

Выводы из этих посещений иностранцев оказали громадное влияние на русскую демократию. Тем более, что значение этих выводов было подчеркнуто и оттенено своими «иностранцами», в особенности Плехановым, который привез иностранные настроения уже, так сказать, переведенными на русский язык, уже примиренными с основами русской идеологии. Несомненно, что роль Плеханова могла бы быть более значительной, если бы не старые счеты и споры с ним марксистов из Комитета. По формальным основаниям ему было отказано в праве решающего голоса в Комитете и было предложено войти туда, и то в виде особого исключения, лишь с совещательным голосом... Такое вхождение, конечно, не лишало бы его возможности влиять на все дела в Комитете — ведь Церетели 2 месяца руководил Комитетом, пользуясь только правом совещательного голоса... Но Плеханов отказался.

Приезд Ленина не мог изменить впечатления, что путь манифестов и воззваний к международной солидарности бесконечно долог и труден. Во-первых, самый приезд в немецком запломбированном вагоне произвел гнетущее впечатление. Но и первое выступление Ленина с его программой показало, что его путь — путь явного безумия даже с точки зрения довольно воспаленного воображения тогдашних руководящих кругов демократии. В первый же день он выступил в заседании совета и произнес речь, которая очень обрадовала его противников.

— Человек, говорящий такие глупости, не опасен. Хорошо, что он приехал, теперь он весь на виду... теперь он сам себя опровергает¹⁾.

Так говорили руководители Комитета, расходясь после первого выступления Ленина. Масса тоже не восприняла практического значения лозунгов Ленина, находясь в идейной власти оборонческих кругов. Да и самая фигура Ленина производила неприятное впечатление прямым контрастом красивым фигурам Церетели, Плеханова, Авксентьева. Иное впечатление, чем Ленин, произвел Троцкий, который сразу захватил совет своей огненной речью и неукротимым темпераментом. Если масса не сразу признала своего идеолога, то она сразу почувствовала своего вождя... Но Троцкий явился значительно позже.

Если путь «протянутой руки» не давал должного результата, не открывал даже перспективы мира, то неудача его

¹⁾ Речь об известных «тезисах» Ленина, в которых впервые был поставлен вопрос о создании Республики советов. *Ред.*

не давала все же никакой новой ориентации, никакой новой точки зрения. Еще в середине апреля большевики не считали безнадежным поставить в Комитете вопрос об организации братания на фронте в день первого мая, и вопрос снят был с очереди лишь после аргументации Церетели, что братание устроить нельзя, так как неизвестно, как к этому отнесется противник, и так как нет никакой технической возможности выяснить это. И извне позиция Комитета попрежнему оставалась неясной, давая возможность различным недоразумениям: был случай, что делегат, приехавший на фронт (западный) с полномочиями от Комитета, решил сам организовать «показное» братание с противником, и только сношения П. М. Толстого по прямому проводу с Петроградом выяснили недоразумение: делегат был отозван. Оказалось, это был известный агитатор и пропагандист в крестьянской среде. Теперь он решил попробовать свои силы на фронте и был в полной уверенности, что его действия соответствуют позиции Комитета.

Гораздо поучительнее и богаче положительными выводами был второй путь к миру — путь дипломатии. Если Комитет не вошел в правительство, если он не поставил никаких военных или мирных условий для своей поддержки правительства, то он все же не лишил себя права влиять на власть в желательном направлении.

Первым поставил этот вопрос Суханов. На другой день после принятия манифеста пленумом совета Суханов выдвинул вопрос о необходимости побудить правительство, чтобы оно подчеркнуло свое согласие с мирными тенденциями демократии. Это было тем более необходимо, что первые шаги Милюкова были направлены в диаметрально противоположную сторону. Заявление Временного правительства о войне 27 марта звучало в полный унисон с манифестом 14 марта, — русская власть тоже заявила, что она отказывается от политики завоеваний и принимает формулу самоопределения народов. Но этого показалось мало. Это заявление было предназначено только для внутреннего читателя. Явное несогласие с этим заявлением Милюкова возбуждало подозрения, что во вне Россия обращена иным ликом. Сухое, лаконичное извещение правительства, что оно не намерено обращаться к союзникам ни с какими мирными нотами, подкрепило подозрения. И Комитет потребовал, чтобы такая нота, формально меняющая международный смысл русского участия в войне, была послана за границу. Так как в правительстве целый ряд министров был против воинственности Милюкова (в том числе и Гучков), то нота была обещана.

Полное согласие между Комитетом и правительством казалось настолько установленным, что Церетели предполагал произвести своеобразную военную демонстрацию: после опубликования мирной ноты правительства вынести в совете решение поддержки «займа свободы»¹⁾. Правительство учитывало это и, со своей стороны, старалось редактировать документ, который должен был удовлетворить демократию, при чем левая часть правительства выдержала весьма суровый бой с Милоковым из-за некоторых выражений. И когда текст ноты был установлен окончательно, некоторые министры при встрече с членами Комитета утверждали, что Комитет будет поражен, насколько далеко пошло правительство ему навстречу. И не подлежит никакому сомнению, что если бы текст ноты был заранее показан Церетели или кому-нибудь из руководящих членов Комитета, — в него были бы внесены соответствующие поправки, или была бы предпринята кампания для подготовки общественного мнения к этому акту. Но этого не было сделано.

Текст в Комитете был получен одновременно с передачей его в печать, после посылки в Париж и в Лондон. Комитет в экстренном заседании стал обсуждать ноту, и после первого прочтения всеми единодушно и без споров было признано, что это совсем не то, чего ожидал Комитет. В особенности резали слова о том, что после революции «всемирное стремление довести мировую войну до решительной победы лишь усилилось благодаря сознанию общей ответственности всех и каждого».

Потом, при дальнейшем детальном разборе, стали раздаваться голоса, что, в сущности, нельзя требовать, чтобы правительство разговаривало с союзными правительствами языком манифеста к народам мира, что дипломатия имеет свой собственный язык. Церетели стал добросовестно расшифровывать ноту и указывать на то, что многие вопросы в ней выражены вполне соответственно общим мирным тенденциям демократии. Скобелев ставил вопрос еще шире, доказывая, что вообще нельзя требовать полного совпадения стремлений демократии и позиции правительства. Демократия воодушевлена революционным пылом... Но русская революция, попадая за границу, должна сходиться со своих широкой колеиных рельс и приспосабливаться к узкой иностранной колее... Но все-таки ряд выражений комментировался и ими,

¹⁾ Так назывался выпущенный Врем. правительством заем, который был предназначен главным образом на покрытие расходов, связанных с продолжением войны. За исключением большевиков, разоблачавших истинные цели этого займа, все политические партии его поддерживали. *Ред.*

как неосторожный и легко поддающийся изменению¹⁾. Около 5 часов ночи заседание было прервано до утра.

Возбуждение Комитета объяснялось тревогой, что нота может вызвать самочинные выступления масс. Но, быть может, как раз эта тревога и послужила причиной этих выступлений²⁾, так как будоражащее известие о том, что Комитет всю ночь заседает над неудачной мирной нотой правительства, о которой столько говорили и от которой ждали первого практического шага к миру, облетело весь город, все казармы. На другой день, 20 апреля, когда Комитет собрался обсуждать ноту, стали поступать сведения о том, что Финляндский полк вышел из казарм и с оружием в руках и со знаменами с надписями: «Долой захватную политику», «В отставку Гучкова и Милюкова», двинулся на Маринскую площадь. Немедленно были посланы Скобелев и Гоц, которым удалось убедить солдат очистить площадь. Как оказалось, полк был выведен именем Исполнительного Комитета по инициативе солдата Линде³⁾, бывшего раньше членом Исполнительного Комитета. Но брожение перекинулось на другие части, захватило рабочих. В ответ началось сильнейшее движение и среди обывателей, в особенности группирующихся вокруг партии народной свободы. И к вечеру уже начались столкновения между различными группами демонстрантов.

Правительство предложило Комитету совместное заседание для обсуждения положения дел. Заседание состоялось в тот же вечер и продолжалось с 9 до 4 часов утра. Это была первая встреча правительства и Исполнительного Комитета со дня, когда на ночном заседании в начале марта решено было образование Временного правительства. Лишь восстание масс, направленное уже и против правительства

1) Речь идет о ноте союзным правительствам от 18 апреля, в которой Милюков от имени народа клялся в преданности союзникам, верности заключенным б. царем договорам и готовности воевать „до решительной победы“. Нота являлась наглым вызовом совету и провокацией по отношению к рабочим и солдатам. Однако премудрые меньшевистские соглашатели, в заботе о добрых отношениях с Милюковым, сразу же выразили готовность объявить ее „вполне соответствующей общим мирным тенденциям демократии“. Это и было сделано через день после опубликования правительством довольно двусмысленного „разъяснения“ ноты. *Ред.*

2) Предположение само по себе явно вздорное, так как демонстрации начались после того, как содержание ноты стало известным из газет (она была опубликована 20 апреля). Но чрезвычайно показательно это стремление Станкевича искать причину выступления не в самой ноте, а в каких-то случайных обстоятельствах. Повидимому, его лично милюковская нота вполне удовлетворяла. *Ред.*

3) Беспартийный интеллигент. В августе того же года в должности пом. комиссара убит на фронте солдатами 444 полка, отказавшиеся выступить на передовые позиции. *Ред.*

и против Комитета¹⁾, заставило их попытаться действительно сговориться. Но сговора не было. Уже началось с того, что возникли прения о допущении журналистов. Комитет согласился на закрытое заседание, но, когда правительство заявило представителям печати, что оно согласилось на закрытое заседание только под давлением Комитета, Комитет стал настаивать на открытых дверях. Тогда правительство заявило, что уже оно настаивает на недопущении журналистов. Правительство осыпало Комитет упреками, если не за сегодняшнее выступление, то, во всяком случае, за прежнее систематическое расшатывание авторитета правительства. Особенно резко и раздраженно говорил Шингарев. Керенского не было. Милюков производил на Комитет впечатление конченного человека, которого было просто жаль. Он сидел все время молча и сделал только одно заявление: он прочел телеграмму, полученную из Парижа, в которой сообщалось, что французское министерство иностранных дел не сочувствует созыву междусоюзнической конференции для обсуждения вопроса о целях войны. Милюкову казалось, что телеграмма имела решающий характер в смысле довода в его пользу. Но громадному большинству Комитета, привыкшему уже к мысли о необходимости и возможности «давить» на свое правительство, казалось непонятным, почему нельзя оказать давление на союзные правительства... Для всех было ясно, что во всяком случае в первую очередь надо было считаться с такими заявлениями, как солдатский бунт, грозящий смести все зачатки народной организованности. В этом направлении развивали аргументацию представители Комитета. Но в отдельных мнениях были громадные различия,—от Суханова, который, по существу, высказывался за невозможность России дальше воевать, до меня, который просил правительство лишь не мешать нам постепенно ознакомить массы с действительным международным положением и задачами войны. Но, повидимому мой тон уже более соответствовал настроению большинства Комитета. В общем, все это было бесполезным и раздражающим словопрением: четверть часа переговоров Милюкова и Церетели до опубликования ноты могли сделать несравненно больше, чем теперь другие часы... В результате, правительство, сохраняя попрежнему тон раздражения, обещало на следующий день обсудить возможность опубликования и посылки за границу разъяснения ноты.

¹⁾ Утверждение чересчур категоричное. Исполнительный Комитет затрагивался этим движением лишь косвенно, поскольку попустительствовал милюковской «вонзистности». *Ред.*

На другой день, однако, движение не улеглось, а продолжалось с новой силой, уже руководимое большевиками.

Для того, чтобы предотвратить участие в нем вооруженных солдат и злоупотребление именем Комитета, Комитет экстренно издал распоряжение о невыводе из казарм солдат иначе, как по распоряжению, скрепленному подписями определенных, поименованных в распоряжении, семи лиц, «семи диктаторов», как шутили потом. И солдатская масса, действительно, оставалась в казармах. Но уже во время обсуждения этой меры в Комитет со всех сторон стали поступать сведения о движении на фабриках и заводах. Наконец, по телефону сообщили, что громадные массы рабочих идут с Выборгской стороны, при чем многие вооружены. Комитет направил навстречу рабочим Чхеидзе, Войтинского и меня. Мы поехали на автомобиле и встретили рабочих уже на Марсовом поле. Рабочие шли довольно стройными колоннами. Впереди каждой колонны шел отряд красногвардейцев, вооруженных разнообразными винтовками и револьверами. За ними веселыми и дружными толпами шли рабочие и работницы. Над всеми колоннами развевались знамена с надписями против войны, против правительства и с требованием передачи всей власти советам. Чхеидзе с автомобиля произнес речь, доказывая, что демонстрации не имеют более смысла и цели, так как правительство уже готово разъяснить ноту в желательном смысле; поэтому Чхеидзе пригласил рабочих вернуться назад. Но тут выступили вожаки демонстрации и заявили, что рабочие сами знают, что им надо делать. Демонстрация двинулась дальше.

Движение не улеглось, а, повидимому, еще разгоралось. Казармы и рабочие кварталы были в брожении. На улицах все время двигались манифестации. На вечер было назначено заседание совета, но многие высказывали сомнение, удастся ли его устроить, не будет ли оно сорвано непредвиденными событиями. И, вероятно, со стороны большевиков были намерения сорвать его¹⁾. Настроение собравшегося совета было до крайности напряженное. Потоки и волны каких-то бурных порывов перекатывались над головами многотысячной толпы, наполнявшей зал кадетского корпуса. То и дело ораторов перебивали какими-то массовыми спорами, вспыхивающими в разных концах зала. Кульминационного пункта возбуждение достигло в момент, когда в зале появился Дан и сообщил, что на улицах началась стрельба

¹⁾ Эта догадка обнаруживает полнейшее непонимание автором тогдашней линии большевизма, которая шла в направлении терпеливой воспитательной и организационной работы. Разумеется такого нелепого намерения как «срыв» совета у большевиков не было. *Ред.*

и имеются жертвы. Поднялся такой шум, такое движение, что, казалось, еще момент, — и перестрелка начнется в зале. Напрасно Чхеидзе звонил неумолчно, — его слабый голос не был слышен даже на эстраде. Но вот встал, или, вернее, вырос высокий и стройный Церетели и поднял руку. Все сразу замолчало, и тишина переливами захватила всех. Церетели сел, но Чхеидзе мог предоставить слово Скобелеву, который стал не столько говорить, сколько отрывисто диктовать постановление. Тон его декретирующей речи оказался как раз по настроению собранию. И оно с такой же энергией возбуждения почти единогласно приняло ряд постановлений о воспреещении на три дня¹⁾ всяких выступлений на улицах вообще и особенно выхода с оружием в руках²⁾. Движение, не имевшее ни определенных лозунгов, ни общепризнанных вождей, было сломлено.

Но впечатление энергии, проявленной Комитетом, значительно парализовалось впечатлением слабости правительства. Не правительство, а совет распоряжается в Петрограде. И это впечатление усилывалось еще злосчастливым воззванием Комитета «о семи диктаторах»³⁾. Удар, намеченный по большевикам, всею тяжестью пал на военное командование, которое приняло это распоряжение Комитета, как прямое вмешательство и вызов по своему адресу. Станным образом из выступления солдатских и рабочих масс в Петрограде, из протестов против излишней воинственности правительства Комитет сделал обратные выводы: сам Комитет стал воинственным. Непосредственно за апрельским выступлением и в связи с ним начались в большинстве Комитета психологические сдвиги, которые привели к полному приятию войны.

Апрельская нота имела по концепции Комитета своей задачей поставить вопрос о мире перед международной дипломатией. Но результатом всех связанных с ней событий было лишь то, что в глазах Европы и всего мира были поколеблены последние остатки веры в прочность и устойчивость новой русской власти. Русская демократия хотела заставить других повторять ее слова, но получилось, что ее вообще перестали слушать, перестали считаться с ней.

Вопрос ставился — если ни братство народов, ни дипломатия не ведут к быстрому миру, то как же достигнуть

¹⁾ Неточно: только на два дня; третий день был добавлен потом. *Ред.*

²⁾ Это постановление было поддержано ЦК большевиков, призвавшим рабочих и солдат к прекращению демонстрации. *Ред.*

³⁾ Так были прозваны те семь членов Исп. Комитета (Чхеидзе, Скобелев, Бинасик, Филипповский, Скалов, Либер, Богданов), без разрешения которых никто не имел права вызвать какую-либо воинскую часть на улицу. Среди них не было ни одного большевика. *Ред.*

его? И стереотипные, много раз повсюду и всеми повторяемые слова подсказывали готовый ответ: «войной».

Правда, этот путь был очень труден. Развал армии был общеизвестен. Но все специалисты связывали развал армии только с идейной стороной революции, только с неудачными лозунгами Комитета. Казалось, надо дать иные лозунги, и армия окажется боеспособной. Как ни трудным могло показаться убедить армию воевать, все же это казалось легче, чем убедить международную дипломатию и демократию вступить на путь манифеста 14 марта.

Перелом мнений совершался в тиши и незаметно. Но в полном и несколько даже неожиданном виде появился он в Комитете по случаю приезда делегатов с северного фронта, 5 и 12 армий, Виленкина, Ходорова и Кучина. Делегаты произнесли патетические речи о положении армии, о влиянии неясности военной позиции Комитета на нее. Уже тогда раздавался вопрос: «Воюем мы или не воюем?»

И в ответ было сказано полным голосом:

— Мы воюем.

Большевики насмеялись над «энтузиазмом», в котором происходило заседание Комитета. И, действительно, такой подъем редко я видел в нем. Речи делегатов с фронта были встречены овациями. В ответных речах, покрываемых в отступление от обычая аплодисментами, слышались никогда не бывалые нотки реальной заботы о «своей» армии. Зазвучали подлинные боевые тона. И тут же, при небывалом единодушии, увлекшем даже кое-кого из интернационалистов, был принят текст составленного Войтинским воззвания — армия должна быть готова по зову начальников и вождей совершать боевые операции, доказать противнику и всему миру силу русского оружия... Даже призыв к наступлению уже явно звучал в воззвании:

«Нельзя защищать фронт, решившись во что бы то ни стало сидеть неподвижно в окопах. Бывает, что только наступлением можно отразить или предупредить наступление врага. Иной раз ожидать нападения — значит покорно ждать смерти... Помните это, товарищи-солдаты. Поклявшись защищать русскую свободу, не отказывайтесь от наступательных действий, которых может требовать боевая обстановка»...

Воззвание звучало так воинственно, что из армии приезжали делегаты специально для того, чтобы удостовериться, не подложно ли воззвание, — настолько оно казалось необычным для того совета, в первом номере «Известий» которого был напечатан большевистский манифест, и кото-

рый до сих пор всегда говорил о войне так сдержанно и с колебаниями¹⁾.

Правда, наряду с этим воззванием было опубликовано воззвание: «К социалистам всех стран», мирного характера. Но действительность была уже не в этом направлении.

Несомненно, что, помимо соображений международной политики и действительного искания путей к миру, в новых настроениях играли значительную роль соображения внутренней политики. Бездеятельная армия явно разлагалась. Солдаты не понимали, зачем их держат на фронте. Запасные части в тылу отказывались давать пополнение и превращались в вооруженные банды, в преторианцев новейшей формации. Надо было дать армии дело: надо напомнить солдатам о долге, надо найти действительно убедительные мотивы к наведению порядка и дисциплины, — ведь если фронт осужден стоять на месте, к чему повиноваться начальникам? Конечно, может быть, лучшим выводом было бы, в смысле внутренней политики, если бы наступление начал сам противник. Но он не наступал. Значит, надо было двинуться на него и ценою войны на фронте купить порядок в тылу и в армии.

Круг развития идей оказался законченным. Война поглотила нестройную толпу разнокалиберных, разноречивых деятелей мартовской революции. Во имя «мира всего мира» был дан лозунг: «вперед на врага».

И все пошло на службу этому лозунгу.

Но психологическая готовность и даже позыв воевать были связаны с необходимостью изменить отношение к власти. Уже во время апрельских бурных дней Церетели как-то сказал Скобелеву:

— Придется вас, Матвей Иванович, отдать в правительство...

Делалось ясно, что правительственная власть в стране начинает становиться бестелесною тенью, между тем как масса увлекается в какие-то безбрежные политические дали. Станные, дикие и ни с чем несообразные настроения масс врывались иногда в самый Комитет. Вот небольшой, но очень памятный инцидент. В Кронштадтский совет приехал солдат с фронта и, пораженный нравами кронштадтской вольницы, стал печаловаться на горькую участь солдат фронта, где царили почти что старые порядки. Кронштадтский совет пришел в страшное негодование и сразу выделил

¹⁾ Это воззвание было принято по докладу Церетели на заседании совета 30 апреля и опубликовано в „Известиях“ 2 мая по старому стилю. Своим острием оно было направлено против начавшегося на фронте и поддержанного большевиками братания русских солдат с немцами. Документ во всех отношениях исторический. *Ред.*

целую делегацию из матросов, солдат и рабочих для поездки в армию и наведения в ней «новых порядков». При этом делегации были даны Кронштадтским советом полномочия арестовывать на фронте командный состав. Делегация должна была немедленно, после бессонной ночи, ехать на фронт. Но она сочла благоразумнее заpastись мандатом и от Петроградского комитета. Здесь она была выслушана в пленуме комитета, который, конечно, отнесся ко всей затее резко отрицательно и не только отказал в выдаче мандата, но решительно протестовал против подобной поездки. Инцидент был мелкий, но он произвел громадное впечатление тем настроением, которое принесли с собой делегаты. Это, несомненно, было массовым психозом. Мы видели, как на наших глазах какой-то нездоровый угар стал спадать с делегатов, — лишь один матрос упорствовал до конца, — как они сами стали признаваться, что никто из них не умеет говорить, что они сами толком не знают, куда и зачем едут. Но все они рассказывали, что ночью у них в совете было такое настроение, что все чувствовали себя способными переделать весь мир.

Стало понятным, что та психология недоверия к власти, которая потоками исходила из Петрограда, должна была быть изменена энергичным сосредоточением всего авторитета, власти и силы в одном каком-нибудь учреждении. При сохранении двоевластия масса неминуемо должна была уйти и от правительства, и от совета, — ведь 20 апреля солдаты и рабочие вышли против правительства, но уже помимо, а отчасти и против Комитета¹⁾.

Однако, и после апрельских событий было старание оттянуть момент неизбежного вступления в правительство. Даже уже в ответ на письмо Львова с предложением образования коалиционного правительства Комитет, правда, большинством всего одного голоса, решил в правительство не входить. Но как раз военный вопрос самым непреодолимым образом выдвигал необходимость консолидации и укрепления власти.

После инцидента с «семью диктаторами» Корнилов выразил желание уйти. Из военных кругов была выдвинута тогда мысль о частичном объединении власти для Петроградского военного округа в виде посылки к Корнилову комиссаров от Комитета. Комитет согласился и выбрал Соколова и меня в качестве таких комиссаров. Мы виделись с Корниловым и, казалось, достигли с ним полного соглашения.

1) Причина этого была, конечно, не в „двоевластии“, как таковом, а в том характере, который оно носило, в склонности „второй власти“ — совета — ко всякого рода уступкам Врем. правительству и к соглашению с ним за счет интересов революции. *Ред.*

Но на другой день нам сообщили, что Корнилов все же решил уйти в отставку. Вслед за ним ушел Гучков, не желавший далее нести ответственность «за тот тяжкий грех, который творится в отношении родины», как он писал в опубликованном при уходе письме. Правительство вошло в полосу перманентного кризиса: Керенский с тоской говорил, что правительства уже нет, что оно не работает, а только обсуждает свое положение... Власть, разбитая 20 апреля, разваливалась на части. Формула «поддержки постольку-поскольку» теряла свой смысл уже потому, что не было кого поддерживать—правительство надо было уже воссоздать, а это было невозможно без участия Комитета.

Быть может, и тут боязнь власти победила бы. Но вести с фронта, привозимые делегатами, становились все мрачнее. Приходили какие-то новые люди, озлобленные, негодующие, требующие заключения немедленного мира, бранящие правительство за медлительность и обман, а Комитет—за нерешимость по отношению к вероломному правительству. Не двинется ли за этими делегатами весь фронт, погружая страну в мрак анархии и полного уничтожения?

И через несколько дней после первого своего решения Комитет поставил вопрос о власти вторично. И даже без прений, просто после заявления Церетели: «Я высказываюсь за коалиционное правительство»...—вопрос был решен положительно. Была выбрана комиссия из представителей всех партий для переговоров с правительством. На другой день утром на квартире Львова начались переговоры. Представители Комитета явились с готовой декларацией, выражающей их стремления. Мне показалось, что когда декларация была прочитана в правительстве, почувствовался вздох облегчения: «только-то»... Терещенко и Некрасов не скрывали своего удовлетворения и предлагали немедленно перейти к вопросу о личном составе. Но Львов сдержанно заявил, что необходимо обсуждение декларации в среде правительства. Представители Комитета отправились ожидать ответа в ближайший ресторан на Садовой, обсуждая за завтраком вопрос о личных кандидатурах. Между прочим, решено было не настаивать на уходе Милюкова, наоборот, скорее склонились к тому, чтобы он остался в кабинете, но не министром иностранных дел. Через некоторое время Церетели был вызван к правительству и вернулся с поправками последнего к декларации. После некоторых переговоров редакционный вопрос был улажен без особых трудностей. Но сразу с переходом к распределению портфелей вопрос начал осложняться, запутываясь с каждым часом.

Формально переговоры происходили в кабинете князя Львова, на Театральной улице.

Но там только окончательно скрещивались решения, принятые в других местах. Поэтому каждый этап переговоров, каждое предложение, каждая поправка должны были влечь за собой перерыв переговоров для того, чтобы члены правительства и представители Комитета могли столкнуться сами. Помимо общих заседаний правительства с делегацией и заседаний отдельно правительства и отдельно делегации, происходило еще перманентное заседание кадетского центрального комитета и Исполнительного Комитета. Кадеты сразу выставили ряд существенных требований: число мест кадет в кабинете должно быть не менее числа мест демократии; помимо исправленной декларации Комитета, должна быть новым правительством принята декларация осуждения анархии, при чем текст этой декларации, предложенный кадетами, был по тону явно неприемлем для представителей Комитета; далее, при обсуждении вопроса о личных кандидатах, было выставлено требование, чтобы портфель министра земледелия находился в руках кадет. Противоположные влияния шли из Таврического дворца. Там Комитет, оставшись без лидеров, вошедших в делегацию для переговоров, попал под влияние Стеклова и начал формулировать свои требования и ставить условия вхождения представителей Комитета в правительство, тоже настаивая на том, чтобы целый ряд важнейших портфелей — военный, внутренних дел, иностранных дел, и, конечно, земледелия — непременно были в руках демократии. К этим двум влияниям присоединились побочные. Уже в разгаре переговоров явились представители крестьянского съезда со своими требованиями. Эсеры выставили ультимативным условием: «Чернов — министр земледелия»... Народные социалисты: «министр земледелия — кто угодно, только не Чернов». Среди социал-демократов большое брожение возбуждал вопрос относительно министра труда. Чхеидзе настаивал, чтобы Церетели непременно оставался в совете, так как, с его уходом в правительство совет выйдет из рук Комитета... Правительство настаивало на входе именно Церетели, считая его единственно солидным кандидатом демократии. Шингарев ни за что не хотел отказаться от продовольственного дела, так как хотел увидеть результаты своих мероприятий по снабжению, которые должны были, по его мнению, сказаться через несколько недель. Военные штабные круги выдвигали кандидатуру в военные министры Пальчинского. Скобелеву хотелось быть морским министром. Правительство настаивало, чтобы военным и морским министром был Керенский. Для некоторых портфелей не находили министров (мин. юстиции), для некоторых министров не находили портфелей (Церетели). К этому присоединились влияния фронтов, так

как, как раз в разгар переговоров, с фронта приехали в Петроград верховный главнокомандующий Алексеев и все командующие фронтами — Драгомиров, Гурко, Брусилов и Щербачев, при чем они выступили с резко обличительными речами. Речи эти, очевидно, предназначались для правительства, но правительство справедливо сочло, что речи эти были особенно полезны для Комитета, и предложило устроить соединенное заседание для выслушания голоса фронта.

Заседание проходило за заседанием без результатов. Каждый день назначалось заседание пленума совета для того, чтобы как только будет достигнут результат, сообщить ему. Но каждый день приходилось заседание отменять. Наконец, пятого мая к ночи положение настолько запуталось, что была потеряна надежда достигнуть соглашения. В кабинете кн. Львова заседала делегация Комитета и крестьянского съезда. В глубине квартиры заседало правительство, Керенский и Некрасов бегали из одной комнаты в другую в качестве посредников. Но с каждой минутой дело запутывалось и становилось безнадежнее. Все мыслимые комбинации были разобраны. Каждое предложение имело уже известный цикл затруднений и возражений. Происходило явное топтание на месте. Нервное напряжение достигло высшего предела и выражалось в чрезвычайном возбуждении и раздражении друг против друга. Уже давно не происходило обсуждения вопроса, просто все говорили в своих углах или, точнее, кричали. Чернов, взъерошенный и разъяренный, набрасываясь на прижатого к углу маленького Пешехонова, Гвоздев произносил какие-то последние слова в негодовании на бестолочь всего происходящего... Даже Церетели потерял равновесие и, несмотря на мои пламенные призывы к спокойствию, кричал, кажется, на Чхеидзе... Как вдруг вбежал Керенский и заявил, что решение найдено. В сущности, та комбинация, которую сообщил Керенский, была далеко не новой и имела много возражений против себя¹⁾. Но все рады были поддаться его настроению. Попыток возражений уже не слушали, недовольных заставили замолкнуть.

Коалиционное правительство было образовано. Война и власть были приняты Комитетом одновременно.

¹⁾ Состав коалиционного правительства был следующий: кн. Г. Е. Львов — председатель и министр внутренних дел; А. Ф. Керенский — военный и морской; В. М. Чернов — земледелия; Н. П. Перверзев — юстиции; М. И. Терещенко — иностранных дел; А. И. Шингарев — финансов; Н. В. Некрасов — путей сообщения; А. И. Коновалов — торговли и промышленности; А. В. Пешехонов — продовольствия; А. А. Мануилов — народного просвещения; М. И. Соколов — труда; Г. И. Церетели — почт и телеграфов; В. Н. Львов — обер-прокурор синода; И. В. Годнев — государственный контролер. Из них 6 социалистов.